



В. БЫХОВЕЦ
(Рассказ лейтенанта запаса)

Весной сорок третьего года воздушный полк, в котором я служил, стоял на разоренной курской земле.

По-соседству с нами расположилась на отдых танковая бригада. Аэродром и танкодром лежали рядом.

Танкисты — славные парни. Мы подружились с ними, пили спирт, устраивали концерты самодеятельности и ходили в окрестные деревни к молодым курянкам.

В полку и бригаде почти все экипажи состояли из ребят не старше двадцати пяти лет. Полковому командиру, гвардии майору Анатолию Ивановичу, было двадцать четыре. Он, как и полагается командиру, носил лихие усы, а бригадный, подполковник Юрий Иванович, был старше нашего на год и отращивал дремучую бороду. Молодым отцам-командирам растительность на лицах требовалась для представительности и важности, а остальной авиационно-танковый молодняк соблюдал субординацию и — брился.

Моим приятелем среди танкистов был лейтенант Колька Камень, сибиряк, — парень красивый, высокий, ладный. Да и я в пору двадцати одного года был не урод.

На вечеринке Николай познакомил

меня со своей подружкой Настей Кленовой и ее двоюродной сестрой Верочкой. Проводили мы девушек до дому, договорились, что придем к ним на другой день в гости.

Девчата жили в деревне, которую мы прозвали Скворешней. Сожжена деревня была дотла, вместо хат в ней — десятка три беспорядочно разбросанных землянок, но у каждого жилища на шестах (от деревьев остались одни пеньки) стояли птичьи домики, — не свежеструганные, нарядные, пахнущие смолой! — сколоченные из обгорелых досок, грубо сплетенных из прутьев. И все же каждая скворешня была, как заведено, с крылечком и жердочкой.

Вот вам русский человек! Пожарище войны унесло у него все, что наживалось годами, а он в трудную годину не забыл о крылатом вестнике весны, потому, как остались у человека рабочие руки, смекалистая голова, и, главное, — родная земля, без чего жить, радоваться и дышать невозможно.

Скворец — птица замечательная. Выберет пара себе дом, натаскает строительных материалов, оборудует по вкусу и созывает соседей справлять новоселье. Соберутся шесть-восемь певунов, усядутся на жердочку и нежно выводят свои гимны солнцу...

Под вечер мы явились в Скворешню. Насти и Веры дома не было. Старуха,

коловшая лучину у печурки, сказала, что все на собрании в председателевой землянке.

Николай оставил записку и мы пошли в недалнюю рощу, выбрали на опушке место повеселее, кинули на траву шинели, В рощице на пробудившихся березках раздались вширь пахучие зеленые зубочки, и ночами тут уже гремели первые соловьиные концерты. По земле шагала весна.

Глядя в закатное небо, мы спели про любимую, которая провожала солдата в далекие края. Покурили. Завели песню про огонек, но тут зашуршали по прошлогодней листве шаги. Шли девушки. Настя часто вытирала щеки рукавом ватника, а Вера хмурилась и устало шаркала тяжелыми ботинками. Почуяли мы неладное: у Насти глаза красные от рева, а Вера моргает и то же вот-вот зальется.

На войне слез озера, но по пустякам не плачут. Раз уж дал человек волю слезам, значит, явилась беда, терпеть которую нет сил. Стали мы девчат расспрашивать, что да почему. Настя упала грудью на землю, горько плачет. Вера нехотя и сердито объяснила, что случилось у них в деревне непоправимое: решили колхозники засеять триста гектаров ржи, добыли семена и получили в районе трактор. На радостях тракторист, шестнадцатилетний Настин братишка, двинул из МТС напрямик — вброд через речку — и нарвался на минное поле. Переглянулись мы с Николаем: дело скверное!

А Настя приподнялась и распухшими губами зло говорит: «Зачем рассказываешь? Какое им дело? Они сегодня здесь, завтра — там. Уйдут и забудут, кто ты есть... А мы... — и опять повалилась...»

Николай бросил папирску, встал, одел шинель, туго перепоясался, поправил фуражку, будто собирался на доклад к генералу, повернулся на каблуках и, не прощаясь, зашагал к деревне.

Верочка даже испугалась и крикнула: «Дура! За что обидела человека! Догони, извинись!» Настя посмотрела на сестру невидящими глазами. Вера дернула ее за ватник: «Слышишь?! Ну!» Настя вскочила: «Коля!» — и побежала за Николаем. А мой гвардеец идет, как на параде, и не оглянется.

Верочка низко нагнула голову, провела по глазам ладошкой, всхлипнула, уткнулась носиком мне в плечо...

По-разному слушали на войне соловьиные голоса. И в известной фронтовой песне говорится не только про шальные трели, от которых солдату не до сна, но и про людей, которые солдата дома день и ночь ждали.

Случай с братишкой, отчаянные разговоры на собрании сильно расстроили Верочку, разбредили в ней невеселые воспоминания. Выплакалась она и стала рассказывать. Поступила она в сороковом году во Львовскую консерваторию, бежала в сорок первом, попала за колючую проволоку в немецкий лагерь, вырвалась чудом, добиралась почти год до родных мест.

Приключения такие, что Расскажи мне о них кто-нибудь от третьего лица — не поверил бы! Посмотрю на Верочку, ей двадцать лет недавно сравнялось, — девушка, как девушка, лицо почти детское, плечи узкие, руки, как у подростка, только у висков паутина морщин да глубоко в ясных глазах невысказанное...

Чересчур строгой и неинтересной показалась мне Вера при первой встрече: была молчалива, задумчива — и вдруг открылась — доверчивая, нежная, мечтательная... Расставшись с нею, уносил я необъяснимое чувство, близкое тому, как однажды в придонском городе после бомбежки заметил на подоконнике расколотого, почерневшего» дома вазу и, сам не зная зачем, взобрался по обломкам, и увидел тонкий, дивной огранки хрусталь. Ваза выдержала ураган взрывов, осталась без изъяна, только посмуглела от огня.

Вечер на опушке под неяркими звездами: был короткий, а с него на всю жизнь завязалась у нас... Впрочем, это уже другая история!

Вернулся я в полк. Иду наутро к командиру и прошу разрешения разговаривать неофициально. Командир разрешил. Сообщаю, что так и так, мол, горе у колхозников, как бы помочь им управиться вовремя с посевом. Командир шевелит усами, улыбается: «От танкистов узнал? Подполковник мне ночью звонил». Я догадался, что это Колькина работа и

рассказал про своего дружка.

«Добро!» — говорит командир. Подождем соседей. А ты не уходи». Подлетел вскоре к нашему КП виллис бородатого подполковника. За рулем Колька. Увидел меня, да как грянет: «Быстро тучи пронеслися темно-синюю грядой!» — парень, стало быть, в наилучшем настроении.

Командиры посоветовались, позвонили в высокие штабы. К танкодрому отправилась, через час автоцистерна с бензином. А на рассвете, зацепив какой можно было собрать пахотный и посевной инвентарь, танки вышли в поле. Танкисты, как по команде, отвернули орудийные башни назад стволами. Был в этом особый смысл: наверное, впервые за свою историю панцирные машины делали противоположное тому, для чего придумали их мастера. Мы не задумывались о таких высоких вещах, мы хотели, чтобы заколосилась добрым урожаем наша земля, а это значит, что у людей в доме хлеб, и солома на крышу новой хаты и, может быть, новая рубаха к празднику...

Представьте: раннее утро. Дотлевают в поле костры. Видны вдали освещенные первыми лучами танки... И лицом к востоку на переднем плане, у остановившихся плугов стоит на коленях председатель колхоза — однорукий инвалид, меряет палочкой глубину пахоты и показывает склонившимся над бороздой майору и подполковнику; левее среди девчат — Колька Камень, снял шлем, закинул голову и хохочет, и с него не сводит влюбленных глаз Настенька, рядом и чуть впереди — Верочка. Держит она за руку четырехлетнюю дочку председателя и глядит задумчиво на восток, а девчушка прижимает к груди куклу, сделанную из размалеванной, одетой в тряпку пустой малокалиберной зажигалки...

Многое из пережитого в военные годы потускнело в памяти.

Забывается, как ходили мы сквозь шквал зенитного огня бомбить немецкие переправы, как тянул я подбитую машину на аэродром, как выковыривали меня из горящего самолета, как лежал в госпитале и не думал, что выживу... А вот первую танковую борозду забыть не могу. И чем дальше, тем ярче вижу эту картину.

